



АННА КАЛИНИНА

повесть

Артур Домрачев



Артур Домрачев

Анна Калинина

«Автор»

2026

Домрачев А. Е.

Анна Калинина / А. Е. Домрачев — «Автор», 2026

Анна Калинина — жена замминистра цифрового развития, арт-блогер с 180 тысячами подписчиков, идеально срежиссированная картинка. Каждый кадр её жизни выверен: благотворительные завтраки, лекции в Третьяковке, кашемир в апреле, восьмилетний сын, копирующий молчание отца. Когда на открытии выставки появляется Максим — IT-основатель из Твери, поднявшийся сам, — Анна думает, что нашла трещину в стекле. Что нашла кого-то, кто наконец её увидел. О том, что снаружи витрины — тоже витрина, она узнает на ночном поезде в Тверь. В руках — сын. В кармане — выключенный телефон. Канал удалён. Современный роман о женщине, которая всю жизнь была куратором собственной экспозиции — и однажды решила выйти из рамы.

© Домрачев А. Е., 2026

© Автор, 2026

Артур Домрачев

Анна Калинина

АННА КАЛИНИНА

повесть

Артур Евгеньевич Домрачев

Москва · 2026

Глава 1. Утро по расписанию

Запах эспрессо пришёл в спальню по коридору — кофемашинка опередила будильник на восемь секунд, и это была единственная погрешность дня. Анна открыла глаза в шесть тридцать одну. Бок постели справа был пуст и заправлен ещё с пяти утра: Дмитрий вставал под утренние сводки, под звон льда в графине, под скрип кожаного кресла в кабинете — Анна знала эту хореографию не глядя, девятый год она знала её не глядя.

Она прошла в ванную. Свет был тёплый, выставленный накануне на три тысячи двести кельвинов, — Даша-гримёр настаивала, что от любого другого утром пугаешься. Анна посмотрела на себя коротко, не оценивая: припухлость под левым глазом — обычная для четверга, на правом ничего. Косметичка стояла открытой: ватные диски слева, тоник за ними, крем справа, рядом с электрической щёткой. Всё на местах.

Двенадцать минут — и она вышла в коридор.

Из кухни тянуло запахом тёплой булочки. Галина, домработница, стояла у плиты, перекладывая что-то лопаткой со сковороды на тарелку. Митя сидел за столом в школьной форме, перед ним — миска хлопьев. Дмитрий — напротив, в костюме, с телефоном в руке, ещё не выпил кофе.

— Доброе утро, — сказала Анна, поцеловала Митю в макушку, не нагибаясь, и налила себе декафа из второй машины.

Дмитрий поднял глаза от телефона, кивнул:

— У тебя сегодня?

— Съёмка, потом «Метрополь», вечером «Гараж».

— ВП ждёт тебя в восемь там.

— Я знаю.

Он опустил взгляд обратно в экран. Митя осторожно отмерил три ложки сахара в хлопья — по одной, по одной, по одной, — и положил ложку под прямым углом к миске. Анна посмотрела на угол. Точно так же Дмитрий полчаса назад положил ручку под прямым углом к стопке бумаг — она видела это, проходя мимо кабинета. Митя слизнул с уголка рта молоко.

— Мам, а ты сегодня вечером?

— Очень поздно, малыш. После «Гаража».

— А завтра?

— Завтра, конечно. Утром.

Митя кивнул — коротко, спокойно, по-деловому, — и снова занялся хлопьями. Дмитрий перевернул страницу в брифинге. Кто-то на улице завёл машину; через двойной стеклопакет звук дошёл приглушённо, как из соседней комнаты.

Анна выпила декаф в три глотка, поставила чашку Галине под руку.

— Я ушла. Митя, в школу со Светой?

— Да, мам.

Она поцеловала его ещё раз — теперь в висок, нагибаясь, — и вышла в прихожую.

Андрей ждал её во дворе, прислонившись плечом к капоту. Сентябрь, моросит. Анна села на заднее сиденье, кашемировое пальто легло ей на колени.

— На «Винзавод», к Маше.

— На семь сорок?

— Да.

Машина мягко тронулась. Анна открыла телефон, нашла черновик своей колонки для «Татлера», прочла ещё раз — последний абзац о русской иконографии в архитектуре московского сити. На слове «эсхатологическое» она остановилась, посмотрела в окно. По Никитскому бульвару текли зонты — мокрые, чёрные. Анна вычеркнула «эсхатологическое», вписала «незакрытое». Отправила черновик редактору. Закрыла приложение.

Машина шла на Курскую.

Съёмочный павильон Маши Бровкиной был на третьем этаже бывшего винного склада, через двор и пожарную лестницу. Анна поднялась пешком; Андрей донёс сумку с вещами до лифта и спустился обратно. Маша уже работала: камера на штативе, второй свет на ноге, гладкая столешница из натурального дуба, рядом — стеклянная ваза с одной чёрной розой.

— Опаздываешь на восемь минут, — Маша не оборачивалась.

— Дороги.

— Хорошо. Кофе готов, посмотри.

На столешнице стояла кашемировая чашка — не идеально белая, с лёгким розоватым оттенком эмали, — и в чашке был кофе. Лера, стилист, подошла с пипеткой:

— Я наливала пять раз, последний — две минуты назад. Пенка держится семь, если не дышать.

Анна подошла, посмотрела сверху. Сердечко на пенке было выведено идеально, но чуть смещено к левому краю.

— Подвинь на полтора миллиметра вправо.

Лера кивнула, аккуратно подняла чашку, развернула на четверть, поставила. Пенка осталась цела.

— Так?

— Так.

Маша щёлкнула — раз, два, три, четыре. Лера приснула из пульверизатора лёгкий туман над чашкой: для пара. Маша щёлкнула ещё. Анна стояла рядом, в кадре была только её рука — три пальца на ручке, два на блюде; ноготь — без лака, тыльная сторона ладони — её, узкая, бледная. Камера узнавала её по руке.

— Сядь, — сказала Маша.

Анна села. Маша поправила свет, переставила камеру на штатив пониже. Лера подвинула круассан — лёгкий, слоистый, специально оставленный надломленным с одной стороны. Анна поднесла чашку ко рту, не пила, остановилась в трёх сантиметрах от губ, посмотрела за окно мимо камеры. Щёлк.

— Чуть в сторону. Левее. Так. Замри.

Они работали сорок семь минут. За это время кофе остыл, пенка осела, сердечко исчезло. Круассан никто больше не сломал. Анна не сделала ни одного глотка.

— Хватит, — сказала Маша. — В четыре выложу. На «Метрополь» в десять?

— Да.

— Я хорошо отсняла. Не волнуйся.

— Я не волнуюсь.

Маша усмехнулась, не глядя:

— Я знаю.

Андрей ждал внизу. Анна снова села на заднее сиденье, открыла телефон, увидела пропущенный — Мария, девять сорок семь. Хотела набрать. Не набрала: до «Метрополя» один-

надцать минут хода, лучше потом, в машине между благотворительным и «Гаражом». Закрыла телефон.

«Метрополь» встретил её ковром в три ступени и швейцаром, который её знал. Гардероб — пальто на шестой крючок, всегда. Зал «Боярский» — слева. Анна вошла за минуту до начала, тихо, по краю.

Зал был полон в меру: тридцать четыре человека, половина — попечители фонда, треть — частные доноры, остальные — журналисты с маленькими блокнотами. Все в пастельных, утренних тонах: пудра, лён, светло-серый, кремовый. Сама Анна — в светло-сером кашемире и в жемчуге, который она носила второй год.

Она прошла по периметру стола, дважды поцеловалась в обе щеки — с Еленой Викторовной, председательницей; с Лизой, главным куратором, — и села на своё место в торце.

Завтрак был сервирован уже: фруктовая тарелка, маленькие круассаны, чайник с белой розой, стеклянный графин с водой. Анна выпила воды, поставила бокал. У соседки справа — Татьяна Александровна, главврач психиатрической клиники, попечитель фонда — на блюде был лимон.

— Ань, ты собиралась на той неделе у меня обедать.

— Я помню. Перенесла на четверг.

— Ты тоже перенесла, или это твоя секретарь сказала.

— Я тоже перенесла. Прости.

— Не извиняйся.

В этот момент Елена Викторовна постучала пальцем по бокалу — три коротких звука, — и зал смолк. Объявили Анну.

Она встала, прошла к небольшому подиуму у стены, остановилась на одно дыхание перед началом — это была её отрепетированная пауза. Зал её ждал.

— Спасибо, что вы здесь, — начала она. — В этом году фонд работает с одиннадцатью региональными больницами...

Дальше — четыре минуты ровного, тёплого, отрепетированного текста: про детей, которые из больничной палаты видят мир только в окне; про художников, которые приезжают в палаты с холстами и красками; про то, что искусство — не утешение, а способ доказать ребёнку, что мир интересен и за пределами капельницы. Анна знала этот текст наизусть, она произносила его в седьмой раз за год, она верила в каждое слово. Это был её фонд, её жизнь, её несомненное «да».

Зал захлопал. Анна вернулась за стол.

— Хорошо, — тихо сказала Татьяна Александровна. — Ты, кстати, бледная.

— Я не выспалась.

— Ты всегда не выспалась. Я тебе кое-что про сон одно скажу, после.

Анна кивнула. Подошла официантка — молоденькая, с подносом, на котором стояли чайнички, — и неловко зацепила локтем графин с водой. Графин качнулся. Анна успела ладонью поймать, но часть воды уже выплеснулась на скатерть.

— Ой, простите, простите!

— Ничего страшного.

Анна посмотрела на влажное пятно. Лён был светлый, с лёгкой голубоватой нитью на сгибе; пятно сверху темнело по краю и медленно расплывалось. Что-то ближе к 11-0601 ТРХ — машинально, без усилия, — Bright White ушёл в холодную сторону. Через пять секунд разговор вернулся, официантка унесла графин. Анна вытерла бок ладони салфеткой.

В одиннадцать двадцать она встала, попрощалась с Еленой Викторовной, с Лизой, с Татьяной Александровной — обещала позвонить, — и вышла к гардеробу. Шестой крючок. Пальто. Швейцар открыл дверь.

В машине Анна снова взяла телефон. Мария, пропущенный. Набрала.

— Маш.

— Ань, ты жива?

— Жива. Я в машине.

— Я просто проверяю. У тебя голос вчера странный был на ужине, я подумала.

— Я устала просто.

— Ты устала с две тысячи семнадцатого.

Анна засмеялась — коротко, искренне. Это был самый честный смех за всё утро.

— Маш, я перезвоню вечером.

— До «Гаража» или после?

— Между.

— Хорошо.

Анна нажала отбой. Машина уже выезжала на Большую Никитскую.

Квартира была пустой. Галина ушла — у неё была короткая среда, она работала до одиннадцати по вторникам и четвергам; Митя — в школе до трёх; Дмитрий — в министерстве на коллегии. Анна сняла пальто, повесила на крючок в прихожей, прошла по коридору в гардеробную.

Она выбрала на вечер тёмно-синее платье от Erdem — длинное, с глубоким боковым разрезом, осенняя коллекция. Прислала это себе с лондонского показа в августе, висело на чёрном плечике, ждало случая. Сегодняшний случай — «Гараж», осенняя ретроспектива. Идеальное.

Анна протянула руку к плечу. Телефон в кармане завибрировал.

«Анна Сергеевна, добрый день. ВП просил передать: пожелательно в чёрном, без принтов. К нему Шафранская сегодня вечером придёт, неудобно перебивать палитру. Целую, СЮ.»

Анна перечитала сообщение. Светлана Юрьевна — секретарь мужа — формулировала всегда мягко. Шафранская — жена Шафранского, замминистра соседнего ведомства, она всегда в ярком, она «доминирует комнату цветом». Тёмно-синее у Анны было бы рядом с её фуксией — конкуренция; чёрное — фон, рамка, поддержка.

Анна повесила тёмно-синее обратно. Прошла во вторую секцию гардеробной. Сняла с крючка чёрное — тоже Erdem, тоже длинное, тоже с разрезом, только проще. Повесила на ту же дверь, чтобы видеть.

Постояла перед зеркалом. Не каталогизировала. Не оценивала. Просто стояла.

Чёрное платье висело на крючке. До «Гаража» оставалось семь часов и три минуты, и каждая минута уже была чьей-то.

Глава 2. Кривая рамка

«Гараж» пах винным коктейлем и шорохом плотных пиджаков. Звуки в круглом зале складывались куполом, и кондиционер гудел низким басом где-то под потолком, на высоте пяти метров, ровно — к нему ухо привыкало за десять минут и больше не замечало. Анна вошла в семь пятьдесят две, за восемь минут до объявленного начала. Чёрное платье — длинное, простое, с разрезом до колена, — низкий каблук; она знала, что простоит на ногах больше часа.

Гардеробщик принял пальто молча, не глядя на корешок — узнавал. Швейцар у внутренних дверей кивнул. В круглом зале уже собралось человек семьдесят: попечители фонда, художники, два известных коллекционера, журналистка из Forbes-Life с фотографом, трое из посольства Швейцарии — Кирилл там стипендиат. Шафранская в фуксии стояла у дальней стены и говорила с куратором; увидев Анну, кивнула — длинно, дружелюбно. Анна кивнула в ответ.

Центральная работа выставки занимала восточную стену — восемь на восемь метров, тридцать два на тридцать два полотна, каждый квадрат восемьдесят на восемьдесят сантиметров.

ров, и каждый чёрный, и при этом ни один — не такой, как соседний. Тысяча двадцать четыре варианта «Чёрного квадрата», выведенных нейросетью на корпусе из двухсот сорока семи работ Малевича — от ранних эскизов в Кокчете до последнего рисунка с подписью «КМ» 1934 года. На стенде у входа в зал был распечатан экранный кадр: машина с надписью «Generated 13 March, 14:47» и тонкие цифры под каждым квадратом — расстояние до прототипа в латентном пространстве, мера «не-малевичевости». Кирилл Дроздов, тридцать один год, выпускник Геттингенского художественного, работающий между Москвой и Берлином, стоял у стены и улыбался — половина улыбки была про автора-как-знаменитость, вторая половина — про автора-как-обманщика. Анна знала его пятый год. Она знала, что он считает себя обманщиком только с тем, кому доверяет.

Она прошла мимо стены — медленно, не останавливаясь, потому что куратор её ещё в Суриковском учил: на открытии модератор не разглядывает работу, модератор показывает залу, что он её уже видел. Тысяча двадцать четыре квадрата приняли её скользящий взгляд как принимают зрителя, который зайдёт ещё. Один из верхних рядов слева был не совсем чёрным — лёгкое тёплое нарушение, бумажное, как остывший чай. Один из нижних рядов справа сворачивал в холодное, в синеющее. Анна это отметила и пошла дальше.

В семь пятьдесят восемь Анна заняла своё место за круглым столом. Стол стоял точно под центром купола: шесть стульев, чёрная скатерть, шесть микрофонов на тонких стеблях, в центре — низкая ваза без цветов. Слева от неё сел Кирилл, справа — Макс Романов, тридцать пять лет, основатель компании, спонсор экспозиции. Дальше — Алла Сергеевна Тихонова, искусствовед старого образца, шестьдесят восемь, преподавала Анне в Суриковском, любила её как «способную, но слишком эстетичную»; Лев Маришин, философ, тридцать два, автор нашумевшего эссе про «технологическое возвышенное»; Наталья Бугаенко, куратор Третьяковки, ровесница Анны, давняя подруга и тихий враг одновременно.

Анна посмотрела через стол на Макса. Сейчас он был в тёмно-зелёном пиджаке, без галстука, с белой рубашкой, неровно застёгнутой на верхней пуговице. Оливковый, темнее обычного, чуть в коричневое — Анна по привычке подождала, пока в голове вытащится ярлык, как подпись под фотографией. Не вытащился. Усталость, подумала она. С шести тридцати на ногах. Она взяла микрофон.

— Спасибо, что пришли. Сегодня мы открываем выставку Кирилла Дроздова «1024». Кирилл задал машине вопрос, который художник обычно задаёт себе: насколько мой жест уникален? И получил тысячу двадцать четыре ответа. Мы здесь, чтобы посмотреть, что это за ответы.

Зал захлопал коротко, по-светски. Анна повернулась налево:

— Алла Сергеевна, начнём с вас.

Алла Сергеевна включила микрофон, кашлянула в платок и сказала, без улыбки:

— Анна Сергеевна, простите, начну резко. Передо мной — эпигонство, отягощённое машиной. Малевич писал свой квадрат с мыслью, что после него живопись закончится. И вот после него живопись действительно закончилась — она превратилась в это. — Она показала рукой на восточную стену, не оборачиваясь.

Кирилл улыбнулся шире.

— Кирилл, что вы ответите?

— Алла Сергеевна, я не пытался Малевича продолжить. Я хотел открыть его, как ящик. Посмотреть, что в нём осталось, кроме легенды. — Он говорил тихо, без напора. — Машина сделала из его двухсот сорока семи жестов тысячу двадцать четыре. Большая часть — мусор, я знаю. Но в этом мусоре видно, чего у него не было.

— То есть вы доказали бедность Малевича через его богатство, — сказала Алла Сергеевна.

— Я доказал, что у него были границы.

Тогда включился Лев Маришин:

— Алла Сергеевна, при всём уважении: Малевич сам говорил, что квадрат бесконечен. Если квадрат бесконечен, машина может вытаскивать из него ещё долго. То, что мы видим, — это и есть Малевич: его выполненная угроза.

— Это игра словами, Лев, — сказала Алла Сергеевна. — Бесконечность у Малевича — метафизическая. У нейросети она статистическая. Это разные бесконечности.

— Возможно. Но они обе делают шум.

Анна перевела взгляд на Макса.

— Максим, вы как спонсор и как человек со стороны технологии — что скажете?

Макс положил ладонь на стол, плашмя, не сжимая.

— Я как спонсор не должен говорить про художественность — у меня нет на это полномочий. Я скажу как тот, кто работает с нейросетями. Сеть Кирилла была обучена на двухстах сорока семи работах Малевича — это его полный сохранившийся корпус, без писем и заметок. Она сгенерировала тысячу двадцать четыре изображения. Но если посмотреть на эти изображения внимательно — а я три недели смотрел, прежде чем дать денег, — в них не тысяча двадцать четыре варианта. В них двенадцать или пятнадцать настоящих векторов. Остальное — шум интерполяции, который машина создаёт, чтобы заполнить расстояние между векторами.

Он сделал короткую паузу. Никто не вмешался.

— Эта работа не про Малевича-уникального. Она про Малевича-достаточного. Двенадцать-пятнадцать жестов было — и хватило, чтобы сказать всё. Машина это доказала.

— То есть вы хотите сказать, что Малевич — ограниченный художник? — Алла Сергеевна положила платок на колено.

— Я хочу сказать, что Малевич — закрытая система. Самодостаточная. Это похвала, не критика. Открытые системы рассыпаются. Закрытые — становятся каноном.

Анна слушала. В обычное время у неё к этой минуте уже сложилась бы своя позиция — она знала её к третьей реплике любого диспута, удерживала про себя до момента модераторской вставки, выпускала в нужное окно одним абзацем. Сейчас позиции не было. Она поймала себя на этом — и сама удивилась. С кем я согласна? — спросила она себя посреди фразы Макса. Не нашла ответа. Раньше нашла бы за полсекунды. Это было новое. Она не стала это формулировать дальше — просто запомнила.

Кирилл тихо хохотнул.

— Макс, ты меня сейчас расхвалил, как никто из критиков, и при этом обидел Малевича сильнее, чем я когда-нибудь решился.

— Я знаю, — ответил Макс.

Анна повернулась к четвёртому стулу:

— Наталья, Третьяковке как смотреть на эту работу — Малевич всё-таки ваш дом.

Наталья — у неё всегда был ровный, академический голос, в котором никогда не было слышно, дружится она с тобой сейчас или нет, — поднесла микрофон ближе:

— У нас два Малевича в постоянной экспозиции, и если завтра кто-то спросит, какая работа третья, я не отвечу. Не потому, что её нет. Потому что она не нужна. Третий квадрат был бы избыточен. И вот эта стена... — Она показала рукой в сторону восточной стены, не глядя. — Эта стена нам не помогает. Она нам мешает. Она показывает, что после двух квадратов всё остальное — арифметика.

— Это сильное заявление, — сказала Алла Сергеевна, и в её голосе впервые за вечер прозвучала нота согласия.

Кирилл хмыкнул — без обиды, неопасно, как родители смеются над своим взрослым ребёнком.

— Можно я отвечу? — спросил он.

Анна кивнула.

— Я делал работу не для Третьяковки. Я делал её для тех, кто никогда туда не зайдёт. Для тех, у кого Малевич — это интернет-мем про Айфон. Им машина показывает то, что Наталья и сама знает двадцать лет. Это не для канона. Это для тех, у кого канона нет.

Макс посмотрел на Кирилла — без улыбки, очень коротко, но Анна успела увидеть.

— Этим я и финансирую такие работы, — сказал Макс в свой микрофон. — Машина не для канона. Машина — для тех, у кого канона нет.

Лев Маришин:

— И я подпишусь. Эта работа честная — она показывает, что современное искусство кончилось не от усталости, а от заполненности. Двенадцати жестов хватает. Машина это видит лучше нас.

Кирилл молчал. Анна посмотрела на него — он не выглядел задетым; он выглядел человеком, который сделал работу и теперь стоит и смотрит, как работа делает что-то с залом.

— Спасибо, — сказала Анна в микрофон. — Я думаю, что зал может теперь подойти к работам.

Аплодисменты — три-четыре секунды, не дольше. Все встали. Анна выключила микрофон, пожала руку Кириллу, потом Алле Сергеевне, потом — через стол — Льву, потом Максиму. У Максима была сухая, тёплая ладонь, рукопожатие короткое, без задержки. Наталья её обняла мимолётно, без поцелуя — у них с Натальей был такой ритуал ещё со студенчества.

В зале начался обычный пост-стольный шум: тележка с бокалами, фотограф попросил Кирилла встать у работы, журналистка из Forbes-Life поймала Максима в полушаге. Анна взяла со столика бокал — белое, недорогое, для протокола, — и пошла по периметру, как делала всегда после своих модераций: дать залу остыть, поздороваться с теми, кого не успела до начала, проверить расстановку стендов.

Она шла медленно. Её на полшага остановила Ксения Алексеевна — старая знакомая, в прошлом главред «Декора», теперь куратор частной коллекции в Барвихе, — потянула за локоть в сторону:

— Анечка, ты не представишь меня Дроздову? У него же следующая работа большая будет, я хочу для нас.

— У Кирилла сегодня очередь, Ксения Алексеевна. Завтра позвоните ему в галерею, он там до пяти.

— Завтра он не возьмёт.

— Возьмёт. Скажете, что от меня.

Ксения Алексеевна благодарила, обнимала за локоть, отступила. У стенда с поясняющей надписью к одной из побочных работ — Дроздов делал ещё серию «1024-А», шесть небольших полотен с цветовыми сдвигами, — Анна замедлилась. Табличка с описанием висела криво. На полтора сантиметра ниже левой стороны. Анна посмотрела на табличку. Посмотрела на стенд. Подняла руку, аккуратно подровняла. Опустила.

Голос за спиной:

— Вы всегда это делаете?

Анна обернулась. Макс стоял в двух шагах, с бокалом в руке. Не пил.

— Поправляю?

— Да.

Анна посмотрела на табличку.

— Иногда.

— Сейчас вы поправили, я смотрел.

— Привычка.

— Привычка — это про *что* люди делают. А я спрашиваю — *почему*.

Анна хотела сказать «потому что неровно — неудобно глазу», но эту фразу она прочла когда-то в интервью у датского архитектора, и здесь, под куполом «Гаража», в чёрном платье

Erdem, перед человеком, который три недели смотрел на тысячу двадцать четыре чёрных квадрата, — здесь эта фраза не работала. Она хотела сказать «потому что я искусствовед». Тоже не работало. Правды у неё в эту минуту в кармане не оказалось.

— Не знаю, — сказала она.

— Хорошо.

Он сказал «хорошо» — серьёзно, без иронии, — и сделал шаг назад. Анна посмотрела на табличку: теперь она висела идеально.

— А вы — *почему* смотрели? — спросила она, и сама себе удивилась: она не собиралась это спрашивать.

— Я работаю с сетями, которые тоже что-то поправляют без необходимости, — сказал Макс. — Мне интересно, когда люди делают то же самое. Кто из нас машина — пока неясно.

Он улыбнулся в этот раз — короче, чем перед этим. Анна не успела сообразить, насколько он шутит. Он улыбался едва-едва — не ей, а чему-то своему, что у него уже сложилось за этот вечер и о чём он ей не скажет.

К ним подошла Наталья — с другого края зала её увлёк коллекционер, и она шла извиняться, что не успела к Анне подойти раньше. С другой стороны к Максиму шагнула журналистка из Forbes-Life с диктофоном. Они разошлись.

Анна не успела сделать и трёх шагов, как услышала за спиной разговор Макса с журналисткой.

— Максим, фонд «Дроздов как продолжение» — это формальная структура или будут конкурсы?

— Будут конкурсы. Открытые.

— Без анкеты на лояльность?

— Без анкеты на лояльность.

— Это смелое заявление.

— Это коммерческое заявление. Мы делаем продукт. Лояльность — не товар.

У него за столом полчаса назад был другой голос — медленный, ровный, иногда несоборанный. Сейчас голос был выверенный, как у её собственного редактора колонок. Анна обернулась через плечо. Макс стоял к ней вполборота, держал бокал у груди — не пил, — и говорил журналистке так, как Анна за восемь лет публичности научилась говорить с собственными интервьюерами: ритмически, с короткой паузой после ключевого слова. Она не успела это додумать.

Подошёл Кирилл — обнял её, спасибо, спасибо, без тебя бы я не вытащил Аллу Сергеевну. С Шафраньской — у дальней стены, две щеки, дружелюбно. Со швейцарцами — короткое английское «good evening», смайл. К десяти четырнадцати Анна была у гардероба. Пальто на шестой крючок не было, разумеется, — гардеробщик нашёл его по корешку, подал. Швейцар открыл дверь.

Андрей ждал у выхода — машина стояла под лёгким, накрапывающим дождём, фары приглушены. Анна села. Дверь захлопнулась мягко, как ватный комок.

— Домой, Анна Сергеевна?

— Домой.

Машина мягко тронулась.

Телефон в её сумке завибрировал. Анна вытащила. Сообщение от Дмитрия:

«ВП доволен. Шафраньская спросила, где ты купила платье.»

Анна посмотрела на сообщение. Положила телефон лицом вниз на сиденье. Через минуту экран засветился снова — поверх кожаной обивки прошёл бледный отблеск. Она перевернула телефон. Кирилл: «Спасибо за модерацию. Алла Сергеевна сказала, что я тебя плохо использую. Я не понял». Смайл с зажмуренными глазами.

Анна закрыла приложение. Положила телефон в сумку. Посмотрела в окно.

Андрей повернул на Большую Никитскую. До дома было четыре минуты. Анна попыталась вспомнить, был ли у неё за весь вечер хоть один Pantone — пятна, ткани, света, лица, — и не вспомнила. Сейчас, в машине, она привычным усилием попробовала каталогизировать оттенок неоновой аптеки за окном. Цифра не пришла.

Усталость, подумала она во второй раз за вечер.

Машина остановилась у подъезда.

Глава 3. Кивок

Подъезд в их доме на Большой Никитской пах в это время суток политурой — консьерж натирал перила перед сменой, а смена была в одиннадцать, и Анна попала ровно в его час. Она прошла мимо, кивнула: Сергей Иванович кивнул в ответ, не отрываясь от тряпки. Лифт поднялся бесшумно на седьмой. Анна вынула ключ из сумки, но дверь открылась сама — Галина была дома, хотя по средам у неё не должна быть.

— Анна Сергеевна, простите, я тут ещё. Митенька не лёг — папу ждёт. Я думала, до десяти посижу, а он уже одиннадцатый час...

— Спасибо, Галина. Идите. Я с ним.

Галина накинула пальто, перекрестила воздух в сторону детской и тихо вышла. Анна стояла в прихожей с пальто на руке и слушала: из коридора шёл ровный, узкий свет — лампа в детской, настольная, тёплая. Запах был детский: тёртое яблоко, ваниль из шампуня, тёплая бумага учебника. Запах, который она знала наизусть.

Она повесила пальто, сняла туфли, прошла в детскую.

Митя сидел на полу у кровати, прижавшись плечом к стенке, на коленях — большая книга про насекомых, рядом — стакан, в котором осталось на два глотка. На покрывале лежала пижама, не надетая, аккуратно сложенная — Галина приготовила.

— Мам.

— Ты почему не спишь?

— Я папу жду.

— Папа поздно сегодня. Я тебе говорила.

— Я знаю. Я всё равно жду.

Анна села на ковёр рядом, не на кровать — на ковёр, как делала, когда он был совсем маленький, и они так читали книжки в темноте. Кашемировое чёрное платье ей мешало, она подобрала под колено. Митя посмотрел на неё внимательно — у него был странный, не-восьмилетний взгляд, какой бывает у детей в конце второго класса, когда они уже понимают, что мать — не всемогущая, но ещё не понимают, что это плохо.

— У нас сегодня Лёша Прохоров сказал Татьяне Витальевне, что не сделал домашку, потому что у него заболела бабушка.

— И?

— А у него бабушка не болела. Он мне после на перемене сказал, что просто забыл сделать.

— И что Татьяна Витальевна?

— Ничего. Она сказала: «Лёш, ну будь здоров твоей бабушке», и поставила его без оценки. А ему ничего не было.

— Ему повезло.

— Ему не повезло, мам. Ему ничего не было — потому что он соврал хорошо.

Анна посмотрела на сына. У Мити были тёмные, как у Дмитрия, глаза, и от Дмитрия же — манера моргать редко, удерживая взгляд на собеседнике на полсекунды дольше, чем нужно. От неё у Мити была форма лба и ресницы. Анна привычно перечислила это про себя — это была её внутренняя ревизия, она проводила её раз в несколько дней, ей казалось важным помнить, какие части в нём её, какие — мужа. Не из ревности. Для счёта.

— Митя, послушай.

— Я слушаю.

— Если Татьяна Витальевна не наказала Лёшу, это не значит, что Лёша поступил хорошо.

— Я знаю, что не значит.

— Тогда что ты хочешь спросить?

— Я хочу спросить у папы. У тебя я уже спрашивал летом, ты сказала, что врать нехорошо. А Лёша вот соврал, и ему хорошо. Это значит, что взрослые врут по-разному — есть нехорошо, а есть хорошо. Я хочу узнать у папы, как отличить.

У Анны в горле что-то поднялось — не комок, нет, нечто более мелкое, вроде того ощущения, когда втягиваешь воздух перед тем, как сказать неправду. Она сглотнула.

— Это сложный вопрос, малыш.

— Я знаю. Поэтому к папе.

— Хорошо. Спрашивай. Но сейчас иди в кровать. Папа приедет — я его пришлю.

— Ты обещаешь, что пришлешь?

— Обещаю.

Митя кивнул. Анна посмотрела на этот кивок — он был его, детский, с лёгким клоунским подбрасыванием подбородка, ничего общего с отцовским. Это её немного успокоило. Она помогла ему надеть пижаму, поцеловала в макушку, не нагибаясь, выключила верхний свет, оставила настольную. Митя лёг поверх одеяла — он всегда так делал, когда ждал.

В коридоре Анна остановилась. Прошла на кухню. Налила себе воды. Не выпила, поставила. Посмотрела на часы над дверным проёмом — четверть одиннадцатого. Дмитрий по средам в министерстве на коллегии до десяти; час дороги до дома, иногда полтора. В одиннадцать он будет. Анна вытащила телефон, открыла свой основной канал, посмотрела статистику дневного поста — съёмка с кофе, тридцать одна тысяча лайков, шестьдесят два сохранения, четырёхсот двенадцать комментариев. Все — добрые. Анна закрыла приложение.

Гостиная была пустая и тихая. Старые часы — английские, ходовые, доставшиеся Дмитрию от деда-академика, единственная вещь в этой квартире, которая была не выбрана дизайнером, — тикали в углу неровно: длинный-длинный-короткий, длинный-длинный-короткий, как сбитое сердце. Анна за девять лет не привыкла к этой неровности; она всегда машинально подсчитывала четвёртые удары, которых не было. Сейчас она села в кресло напротив часов и стала ждать.

В одиннадцать ноль семь хлопнула входная дверь.

Запах одеколона пришёл по коридору раньше его самого — Acqua di Parma, тот же одеколон, что у Дмитрия был и до неё, и в первый год их знакомства, и сейчас; запах сухой, цитрусовый, с горчинкой кедра, ничего тёплого. Запах, у которого был свой график: с утра — лёгкий, как след; к вечеру, проработав через ткань пиджака и шерсть шарфа, — плотный, узнаваемый за два метра. Анна вышла в прихожую.

Дмитрий снимал плащ. Под плащом был тот же костюм, в котором он был утром: тёмно-серый, в едва различимую полоску, английский. Галстук он уже расслабил в машине. В руке — портфель, тяжёлый, с папками; он поставил его у консольного столика плашмя, не вертикально — значит, утром заберёт обратно.

— Поздно.

— ВП до полдесятого держал. Шафраньский опоздал, всё съехало.

— Митя не спит.

— Я видел свет.

— Он тебя ждёт. У него вопрос.

Дмитрий посмотрел на неё — внимательно, не устало, без раздражения, ровно: тем самым взглядом, каким он смотрел на брифинги. Кивнул.

— Иду.

Он прошёл по коридору в детскую, как был — в брюках от костюма, в белой рубашке, в галстукe, чуть приспущенном. Анна шла за ним на два шага сзади и остановилась в дверях, не входя. Митя приподнялся на локте.

— Пап.

— Мм.

— Я тебя спросить хотел.

— Спрашивай.

— Пап, а почему врут?

Дмитрий сел на край кровати, не снимая пиджака. Он не спросил «кто», не спросил «когда» — он принял вопрос, как принимал в министерстве справку, не зная её содержания. Подождал секунду.

— Чтобы избежать неудобства. Чаще всего.

— А ты врёшь?

— Когда полезно.

— Понятно.

Дмитрий кивнул — голова чуть вбок, подбородок ушёл к ключице, пауза в одну секунду. Это была у него такая отметка «разговор окончен», поставленная мягко, без жёсткости. Анна видела этот кивок тысячи раз — на коллегиях по телевизору, на званых ужинах, в их собственных разговорах за завтраком.

Митя кивнул в ответ. Голова чуть вбок. Подбородок ушёл к ключице. Пауза в одну секунду.

Анна стояла в дверном проёме. Между двумя кивками — отцовским и сыновним — прошло, может быть, полторы секунды. За эти полторы секунды Анна успела увидеть всё: одинаковый угол наклона головы (двадцать пять градусов, не больше), одинаковую длину паузы перед тем, как поднять подбородок обратно, одинаковую микроусмешку в правом уголке губ — у мужа она была привычной, у сына — новой, как новенький, не сразу сидящий по руке инструмент.

— Спокойной ночи, — сказал Дмитрий и встал.

— Спокойной, пап.

Дмитрий вышел в коридор, не глядя на Анну, прошёл мимо неё к спальне. Анна осталась в дверном проёме.

— Мам.

— Что, малыш.

— Папа правильно ответил. Я понял.

— Спи.

Митя послушно лёг, отвернулся к стене. Анна осторожно прикрыла дверь, не до конца. В коридоре стояла тишина — Дмитрий уже был в спальне, в ванной шумела вода.

Она сделала два шага в сторону гостиной и остановилась.

На стене коридора висела работа, которую она купила пять лет назад на «Винзаводе»: тёмная, почти чёрная картина маслом — молодой автор из Воронежа, фигура спящей женщины, едва намеченная, в правом нижнем углу — узкая полоска тёплого света. Анна каждый день проходила мимо неё дважды, иногда трижды; за пять лет она знала её до миллиметра. Сейчас в коридоре горел только ночник у плинтуса, картина была почти в темноте.

Анна остановилась перед ней. Сделала то, что делала рефлекторно — без решения, без формулировки, как другой человек, наверное, привычно сжимает кулак или поправляет очки: попыталась посчитать чёрные. Тот, что в верхнем правом — какой это чёрный, в синюю сторону или в коричневую. Тот, что у плеча женщины — чернильный или сажевый. Полоска света — какая по Pantone, 13-0941 TRX или ближе к 13-0915.

Цифры не пришли.

Анна стояла перед картиной, как раньше — на этом же месте, в этой же позе, в это же время года — стояла сотни раз, и каждый раз каталог разворачивался сам собой, без её участия, как разворачивается лента в проявителе. Сейчас лента не разворачивалась. Чёрный был просто чёрный. Свет был просто свет. Слова «чернильный», «сажевый», «холодный», «тёплый» — все эти слова, которыми она кормилась пятнадцать лет, — болтались в голове по отдельности от того, что было на стене. Они никуда не прикреплялись.

Анна сделала полшага ближе, как будто расстояние было виновато. Подняла руку, провела кончиками пальцев в воздухе, не касаясь полотна, обвела контур спящей фигуры — этот жест она тоже знала за собой, она делала так, когда учила студенток в Суриковском читать живопись: показать форму, не трогая. Жест работал двадцать лет. Сейчас он не работал тоже. Пальцы шли по воздуху, и за ними не шло ничего — ни слова, ни числа, ни ярлыка. Только ткань коридора, тёплая от ночника, ровно гудела в ушах низким бытовым шумом.

Анна постояла перед картиной двадцать секунд. Может быть, тридцать. Потом провела ладонью по лбу — медленно, как смахивают паутину, — и пошла в спальню.

Дмитрий уже выключил свет с её стороны. Он лежал ровно, как лежал всегда — на спине, руки поверх одеяла вдоль тела, дыхание на семь секунд вдох, на семь выдох. В ванной щёлкнула лампа — он уже умылся, переоделся, выпил свой стакан воды на тумбочке, заметил, что у Анны на тумбочке стакана нет, не стал её ждать. Он умел засыпать за две минуты — это было его профессиональное умение, выработанное на самолётах между Москвой и Дальним Востоком в первый год его замминистра.

Анна разделась в темноте. Чёрное платье повесила на спинку кресла, не на плечик — утром перевешать. Сняла украшения, положила в гранёную мисочку из «Цептера» — глухо звякнули. Прошла в ванную, не зажигая света; ночник в розетке у зеркала давал ровно столько, чтобы видеть руки. Сняла косметику двумя ватными дисками. Постояла перед зеркалом. Не смотрела в него. Стояла спиной к нему, чувствовала его за плечами, как чувствуют чужой взгляд.

Легла. Натянула одеяло до подбородка. Пододеяльник был тяжёлый — у Дмитрия требование, тяжёлый, чтобы был как груз, успокаивает; Анна за девять лет к этой тяжести привыкла так же, как к неровному ритму часов в гостиной, то есть никак.

Она лежала и смотрела в потолок. Потолок был тёмный — тёмно-серый венецианский, выбран дизайнером для «глубины пространства». Анна не пыталась его каталогизировать. Она знала, что не получится. Это её новое знание было осторожным, как новый зуб — она его не трогала языком, не проверяла, не разглядывала. Просто держала в темноте.

Митя в детской, через стенку, тоже спал. У него было ровное, чуть свистящее носом дыхание — он почти перерос аденоиды, но не до конца. Если повернуть голову на подушке вправо, его дыхание было слышно: четыре вдоха, потом небольшой свист, потом снова четыре. Анна повернула голову. Послушала. Сын дышал.

Дмитрий рядом тоже дышал. Семь, семь.

Анна думала о Митином кивке. Думала тихо, по краю — не разрешая себе развернуть мысль до конца. Думала так: *он научился. Восемь лет, и уже научился. У отца. И будет учиться дальше. И через десять лет — у него уже будет свой пиджак, свой галстук, своя секретарь Светлана Юрьевна, свой кивок и свой ответ «когда полезно», и кто-нибудь будет стоять в дверном проёме его кабинета и смотреть, как он этот кивок делает — какая-нибудь его жена, тоже искусствовед, тоже в кашемире, и она будет думать ровно то, что я думаю сейчас, и это будет уже не моя жизнь, и я ничего не смогу сделать.*

Она тут же одёрнула себя. Это была мысль до конца — а до конца нельзя. До конца — это паника. Анна себе запретила. Перевернулась на бок, лицом к Дмитрию, не близко, на расстоянии вытянутой руки. Закрывает глаза.

Часы в гостиной отбили половину второго: один глухой удар, длинный.

Анна открыла глаза. И вспомнила вдруг — без повода, как будто кто-то сторонний достал из ящика — материнский халат, тёмно-зелёный с цветочками, тяжёлый, ватный, тверской ещё, неснашиваемый. В этом халате мать ходила по утрам по их трёхкомнатной на Советской, кипятила чайник, и от халата шёл запах детского крема и лёгкого пота, и Анна, девятилетняя, лежала с открытыми глазами и слушала, как мать передвигает по кухне табуретку — тоже неровно, тоже длинный-длинный-короткий, — и думала, что когда вырастет, у неё будет другая жизнь, не эта, без табуретки и без халата, и она ни в чём не будет копировать мать, ни в чём, ни даже в форме рук на руле. Сейчас, в темноте спальни на Большой Никитской, Анна обнаружила, что её собственная правая рука лежит поверх одеяла ровно как лежала материнская — ладонь чуть согнута, мизинец слегка отделён. Анна осторожно убрала руку под одеяло. От этого ничего не изменилось.

Лежала с открытыми глазами до без четверти три. В без четверти три встала, не зажигая света, прошла в гостиную, налила себе воды из графина. Села в кресло напротив часов. Не пила воду — держала стакан в ладонях, грела. Стакан был холодный, ладони — холодные, ничто никого не грело.

Часы тикали неровно: длинный-длинный-короткий. Анна машинально начала считать четвёртые удары, которых не было.

Досчитала до восьмидесяти семи. Сбилась. Начала заново.

К пяти утра она пересчитала несуществующие удары часов триста двенадцать раз. К пяти двадцати — небо за окном стало из чёрного серо-синим, и Анна заметила это не как цвет, а как изменение в комнате: стало видно мебель. Она встала, поставила стакан на консольный столик, прошла на кухню.

На столе со вчерашнего вечера стояла Митина миска из-под хлопьев — Галина её, видимо, забыла помыть. Рядом лежала ложка. Митя клал её всегда под прямым углом к миске. Сейчас она лежала точно так же — будто никто и не ел, будто всё было приготовлено для съёмки. Анна посмотрела на этот угол.

Не стала поправлять.

Услышала из коридора, как щёлкнул будильник Дмитрия — пять тридцать одна, обычная погрешность дня. Через тридцать секунд по коридору пошёл запах эспрессо.

Глава 4. Поручение

Сентябрь к концу второй недели пах не пылью, а мокрой листвой — это был сигнал того, что год клонится к решению. Анна заметила запах в среду утром, выходя к машине: тротуар во дворе был усыпан жёлтыми и тёмно-зелёными, плотно прибитыми ночным дождём; Андрей открыл дверь, кашемир лёг ей на колени, машина мягко тронулась — всё было как всегда. И всё-таки не как всегда: в кармане завибрировал телефон, и это было не сообщение Светланы Юрьевны, а другое сообщение, от другой Светланы.

«Добрый день, Анна Сергеевна. Максим Александрович просит уточнить, удобно ли вам встретиться в четверг, в пятнадцать часов, в офисе на Тверской. Тема: ваше предложение по кураторству выставки цифрового искусства "Свет в коде" в Третьяковке. Финансирование — наш фонд. Подробнее — при встрече. С уважением, Светлана Михеева, помощник М. А. Романова.»

Анна перечитала дважды. «Ваше предложение» — мягкий канцелярит, на который она не подавала никакого предложения. Это была формулировка для документов, для аудита, для возможной утечки. Макс знал, как пишутся служебные записки в её мире — её муж писал такие же. Между «удобно ли вам» и «при встрече» — ровно одна щель, в которую можно было войти, не наступая ни на ритуал, ни на правило.

— Удобно. Спасибо, — напечатала Анна.

Опустила телефон в сумку. Андрей вёз её на запись подкаста, в котором она должна была сорок минут говорить о русской иконе и стриминге, о том, как сетевые сервисы изменяют способ смотреть на красное и золотое. Сорок минут она говорила: голос был тёплый, ровный, отрепетированный, между ответами она пила воду без газа из стакана, в который ведущий заранее налил ровно треть. На двадцать восьмой минуте она услышала, как произносит фразу «мерцание — это форма терпения», и услышала её отдельно от себя — как услышишь чужой голос в коридоре. Фраза была построена правильно, на нужный кивок собеседника. Анна досказала абзац и отпила глоток воды. Никто не заметил, что её собственные слова на секунду стали ей чужими; она и сама постаралась тут же забыть. Записали ещё двенадцать минут. Анна попрощалась, поцеловалась дважды с продюсером, спустилась к Андрею. В машине ничего не вспомнилось — будто бумагу прокатило через печь.

В четверг утром Лера прислала три варианта — стандартный набор для первой деловой встречи с публичным мужчиной. Шёлковая блуза с бантом, юбка-карандаш — раз. Костюм Brunello с жилетом — два. Платье midi с цветочным принтом, для смягчения, — три. Анна посмотрела фотографии. Не ответила. Прошла в гардеробную.

Платье висело в третьей секции, там, где она держала вещи без бирок. Серое, шерстяное, длиной чуть ниже колена, прямой крой, без отделки. Toteme — два года назад прислали в обмен на упоминание; не упомянула, не вернула, повесила. Лера год назад сказала, что «оно неинтересное». Лера была права: оно было неинтересное, и это было его свойство, не его дефект.

Анна сняла халат, надела платье. Жемчуг не надела. Часы — без логотипа, тонкий стальной браслет, подарок матери на тридцать. Подошла к зеркалу.

На месте Анны Калининой — арт-журналиста, жены Калинина, попечительницы, лица — кто-то худой, без подписи. Не вчерашняя, не завтрашняя. Кто-то промежуточный, кому ещё не дали имени. Анна постояла перед зеркалом — не каталогизировала, не оценивала. Просто стояла и смотрела на эту женщину, как смотрят на чужую работу, не зная, нравится ли.

«Это для себя другой», — подумала она. И сразу же — раздражением: «дешёвая формулировка, как из женского журнала». И сразу же — спокойнее: «и всё-таки правда».

Андрей довёз её до Тверской без пятнадцати три. Офис компании занимал четвёртый этаж бывшего доходного дома: охрана знала её фамилию, лифт пах деревом, в приёмной не было приёмной — был зал с одной литографией Кабакова на длинной стене и без рекламы, без логотипа, без журналов. Светлана Михеева — молодая, в чёрном джемпере, без жемчуга — встретила, налила воды, поставила перед Анной стакан.

— Максим Александрович через четыре минуты.

Анна села. Литографии в прошлый раз не было — год назад, в этом же кабинете, по другому фонду, на стене висела какая-то фотография, которую Анна не запомнила. Литографию повесили недавно: левый верхний угол был чуть темнее остального — солнце ещё не успело довести цвет рамы до общего тона. Анна заметила это и тут же запретила себе заметить ещё что-нибудь. У неё не было задания каталогизировать его стены.

Через четыре минуты Макс вышел из кабинета и остановился в дверях — не для эффекта, для секунды наблюдения. Серая рубашка, светло-серая, почти графитовая на свету — мягкая, дорогая, без галстука. Рукава закатаны на полтора оборота. Запястья — обычные, ничего не на них.

— Анна Сергеевна. Заходите.

Голос был тот же, что в «Гараже», только короче. В работе он сэкономил воздух.

Рукопожатие — формальное, на одну секунду. Ладонь была сухая, прохладная, чуть шершавая на подушечке большого пальца. И именно в этот момент — короткая вспышка, узкая, в полстроки — Анна автоматически взяла оттенок его рубашки. *Cool Gray 9C. Светлее на полтона, ближе к 423, но не он — где-то между.* Защитный механизм работал быстро и тихо, как

в служебной машине гудит климат-контроль. Анна, проходя за Максом в кабинет, отметила про себя: вернулся. И испытала от этого не облегчение, а раздражение — короткое, неуместное, на неё саму.

Кофемашина стояла у стены — не из её каталога, Slayer, без хрома, матовая чёрная, без украшений на корпусе. Светлана уже разливала. Запах был резче, чем у её домашней — зерно темнее, помол грубее. Не неприятно — чуже.

— Сделать чёрный? — спросил Макс.

— С молоком, чуть.

Он сам долил молока — из стеклянного кувшинчика, не из пакета. Поставил чашку перед Анной. На пенке не было сердечка, не было листа, не было следов человеческой руки. Просто пенка — ровная, как и положено пенке.

Они говорили сорок минут — о выставке. Идея оказалась действительно его, не повод: серия работ, в которых нейросеть обучалась на коллекции русской живописи XIX века и потом — Макс показал на экране — выдавала «цвет, который Левитан не написал». Шесть полотен, печать на холсте, но без претензии на холст. Анна смотрела внимательно. Первый был ученический, второй — натужный, третий — на берегу, с тёмной полосой воды и тонкой жёлтой каймой неба у самого верха — был лучше, чем должен был быть.

— Что с авторством? — спросила Анна.

— Подпись из трёх строк: модель, на чём обучалась, имя кодера, имя человека, нажавшего «запустить».

— Это редкая честность.

— Это юридическая необходимость, — сказал Макс. И не улыбнулся.

Это и было то, что было трудно: он не играл искренность. У Дмитрия искренность всегда была подача — даже когда искренняя, она шла через мускул. У Макса не было мускула: что говорил, тем и говорил. Анна впервые за день почувствовала, что её плечи, не разжимаясь, перестали быть плечами; они стали просто плечами под платьем, не несли на себе угла подачи.

Контракт принесла Светлана — четыре страницы, шрифт двенадцать, без вензелей. Анна прочитала за пять минут. Сумма приличная, не оскорбительно большая, что было важно. Срок — пять месяцев. График — два раза в неделю в этом офисе, один раз — в Третьяковке. Деловая поездка в Базель в феврале, опционально. Анна перечитала пункт про поездку дважды. Подписала.

— Когда первая встреча команды? — спросила.

— Понедельник, одиннадцать. Я не буду.

— Хорошо.

Это «я не буду» было сказано без значения — просто рабочая информация. И всё-таки Анна, поднимая чашку, поняла, что отметила его: он умел не входить туда, куда не нужно. Этому навыку — выходить из комнаты до того, как тебя попросят выйти, — у Дмитрия не было. У Дмитрия была обратная техника: занимать комнату до того, как тебя позовут.

Макс задержал взгляд на её папке — старая, кожаная, потёртая на углах, она носила её ещё с университета, не от сентиментальности, а потому что не было повода менять.

— Вы давно с этой папкой ходите.

— С девяносто восьмого. Подарок отца.

Это было полуправда: подарок матери, но отец заплатил. Анна услышала, как ответила «отца», и услышала, что предпочла отцовскую тень материнской — потому что отцовская тень в её мире была дороже. Она поправляться не стала. Макс кивнул, на этой коже задержался ещё секунду — как смотрят на честную вещь, — и убрал взгляд. Он не спросил, какой отец. Это тоже было умение.

В лифте было пусто. Анна посмотрела на себя в зеркальной стенке — серое платье, без жемчуга, безымянная женщина — и впервые за день эта женщина ей понравилась. Не как картинка. По-другому.

Машина шла на Никольскую. У «Татлера» был офис-уголок в редакции, куда Анна приезжала раз в две недели — не работать, а переписать что-нибудь на бумаге, а не в телефоне. Она любила бумагу как тактильную защиту от собственного быстрого слова: на бумаге фраза не отправлялась по нажатию, на бумаге у фразы было время передумать.

Колонка лежала на столе — почти готовая, квартальная, про «тихую роскошь», тему, на которую её попросили высказаться «на пересечении искусства и быта». Анна перечитала черновик. Глаза остановились на седьмом абзаце.

«Тихая роскошь — это не отказ от шума, а воспитание звука внутри себя.»

Фраза была её — она помнила, как её придумала, в машине, пока ехала на съёмку. Тогда фраза показалась хорошей. Сейчас она звучала, как будто её произнёс кто-то очень уверенный в том, что у него внутри есть звук, к которому стоит прислушиваться. Уверенный — и не своим голосом.

Анна взяла карандаш. Провела по строчке. Не один раз — четыре, плотно, чтобы текст не читался. Потом стёрла резинкой. След остался — серая тень, узкая полоса в полтора слова шириной. Резинка наполнила воздух тонким каучуковым запахом.

Она не вписала ничего взамен. Пропуск в строчке. Редактор увидит — спросит. Она скажет: пусть будет пропуск.

Это была первая фраза за девять лет её колонок, которую она не заменила другой.

Анна перевернула страницу, прошла глазами по остальному тексту. Третий абзац: «архитектура старого Петербурга прощает только тех, кто умеет молчать рядом». Прочла вслух, шёпотом — фраза прошла. Пятый абзац, про монохром: «серый — это не отсутствие цвета, а его внутренний паспорт». Прочла. Прошла. На девятом — «настоящая роскошь не показывает, она удерживает» — задержалась на секунду, провела по строчке пальцем, не карандашом. Не вычеркнула. Решение оставила: пусть лежит, посмотрим через неделю. До сих пор все её предложения были одинаково правильные, одинаково её. Сегодня впервые между ними появилась шкала. Шкала была неудобная: на ней её собственный голос не был ровной чертой, а был кривой — где-то ниже, где-то выше; и Анна, привыкшая работать с ровной чертой, эту кривую читала с трудом.

В семь вечера Анна была дома. Галина закончила, ушла. Митя был в ванной — его смех глухо доходил через две двери. Анна прошла в гардеробную, сняла серое, повесила. Не вернула в третью секцию. Повесила в первую — к рабочей одежде, между двумя её обычными костюмами. Жест был мелкий, она его за собой заметила. И, заметив, не отыграла обратно: оставила.

Митя вышел из ванной в халате с медведями, в волосах — клочья пены, которую не успели смыть. Запах детского шампуня — миндальный, сладкий, с верхней нотой ромашки — шёл от него обильно, заполнял всю прихожую, как заполняет узкое горло тёплая вода.

— Мам, ты пришла.

— Пришла. Иди сюда.

Митя подошёл. Анна нагнулась, обняла. Он обнял в ответ — двумя руками, плотно, как обнимают восьмилетние, пока ещё могут обнимать без расчёта. Лоб у него был влажный, висок горячий после ванны, шею она чувствовала отдельно — узкую, мокроватую, доверчивую. Она стояла так дольше, чем обычно. Не считала.

Звякнул ключ в двери. Анна узнала: левый поворот, два щелчка.

Митя — мягко, не резко, не виновато — снял руки с её спины. Отступил на полшага. Поправил воротник халата — двумя пальцами, точным жестом, такого жеста у восьмилетки нет, восьмилетке такой жест передан.

— Папа не обнимает.

Не упрёк. Не объяснение. Констатация — той самой интонацией, какой Дмитрий вечером уточнял «ВП ждёт тебя в восемь». Митя восемь лет наблюдал и пришёл к выводу. Вывод казался ему очевидным; он не считал нужным его смягчить.

Анна осталась нагнутой, с руками, которые секунду назад держали его, а теперь держали воздух. У неё в горле собрались две фразы, обе ненужные. «Папа просто не любит при чужих» — вранье; в их доме не было чужих, при которых отец стеснялся бы обнять сына. «Папа устал» — тоже вранье; Митя устал бы быстрее, и обнял бы всё равно. Между двумя враньями и одной правдой — что папа действительно не обнимает, и сын усвоил это как климат, — Анна не успевала выбрать. Она ничего не сказала. Это, возможно, было первое, чему её научил этот год: иногда нет реплики, которую стоило бы произнести вслух, и взрослое решение — не произносить никакой. Она выпрямилась — не сразу, медленно, как выпрямляются после долгого сидения, когда колено решает, продолжать ли быть коленом.

Дмитрий вошёл в прихожую, поставил портфель в угол, посмотрел на Анну — кивнул. На Митю — кивнул. Митя кивнул в ответ: голова чуть вбок, подбородок ушёл к ключице, пауза в одну секунду.

— Митя, спать через двадцать минут.

— Хорошо, пап.

Митя ушёл в детскую — шлёпая босыми пятками по паркету. Дмитрий — в кабинет. Дверь кабинета закрылась с тем сухим звуком, который издают только тяжёлые двери в хорошо собранных домах.

Анна стояла в прихожей. У её левого виска что-то нагрелось — точечное, короткое, как иголка, поставленная плашмя.

На кухне в графине было сухое белое — Галина оставила утром, охладила, забыла унести. Анна налила себе. Не «бокал», не «рюмку» — стакан, простой стакан для воды. Она держала его двумя пальцами, как держат пробирку, не как держат вино.

Прошла в гостиную. Не села. Стояла у окна. Из ванной донеслось — тонкая электрическая жужжалка Митиной зубной щётки, две минуты, на которые он по правилу не отвлекался. Звук был привычный, домашний, ровный, и именно из-за ровности — отдельный: за стеной жил человек восьми лет, который сам решал, когда нажать кнопку и когда отпустить, и это его решение Анне сегодня не принадлежало. Жужжалка отключилась. Митя плюнул в раковину — звук тоже был узнаваемый, аккуратный, нерасплёскивающий. Анна стояла у окна, не оборачивалась. За окном уже было темно — сентябрь схлопывал день к семи. На Тверской по противоположной стороне зажигались окна, по одному, не по плану, кто-то приходил, кто-то ещё нет, у кого-то горело синим — телевизор, у кого-то жёлтым — кухня, у кого-то ничего — пустая квартира или сон. Анна смотрела на это окно — то самое, у которого ничего, — и не думала про того, кто там не живёт.

Она посмотрела на свою левую руку, в которой был стакан. Ноготь — без лака, утром Маша снимала только руки. На безымянном пальце — обручальное, серебро, без камня; она выбирала сама девять лет назад, тогда казалось — взрослое решение.

Она ждала, что начнётся каталог. *Bone* — нет. *Ivory* — нет. *Светлая кость, сорок процентов серого* — нет. Ничего не запустилось. Защитный механизм, который сорок минут назад в офисе Макса работал быстро и тихо, дома — у окна, с собственным стаканом в собственной гостиной, — отказывался запускаться. Анна постояла, прислушалась к себе ещё раз. Тишина. Чужая, не её.

Она не сделала ни одного глотка. Поставила стакан на подоконник. Стакан стоял ровно, чуть левее лампы, потел снизу — на полированном дереве через минуту останется кольцо.

Анна посмотрела на это кольцо, как смотрят на эскиз чужой работы.

Не поправила.

Глава 5. Восемь подписчиков

Октябрь к началу второй недели пах не листвою, а уже подмёрзшей землёй; кофемашина опередила будильник на восемь секунд, как полагалось, и Анна вышла на кухню с телефоном в правой руке, ещё не открытым. Митя ушёл в школу с Галиной в восемь пять. Дмитрий — в министерство к восьми сорока, он уехал, не докончив свой второй кофе: чашка стояла на столе, на дне — два глотка, на ободке — отпечаток его губ, почти ровный, чуть скошенный к левому краю. Анна посмотрела на эту чашку, посмотрела на стол, не убрала. Села. Открыла телефон.

Вчерашняя серия про утренний свет в галерее набрала двенадцать тысяч лайков за двадцать два часа. Это был хороший пост — она знала, что хороший: одна фотография, северное окно Третьяковки до открытия, кусок льняного полотна на полу, два мазка пыли в косом луче. Подпись была одной строкой: «Свет начинает работать раньше нас». Под постом — четыреста семьдесят комментариев.

Анна листала их без напряжения, привычным мизинцем, как листают чужие письма в чужой папке — спокойно, не вчитываясь. Она знала свой канал так же, как знала собственную ванную: какая лампа сверху, какая снизу, под какой полкой лежит пинцет. На сорок шестом комментарии она остановилась.

Это был её собственный ответ — позавчерашний, на чью-то реплику: «Анна, как вам удаётся сохранять стиль в любой ситуации?» Под ним — её ответ. «Эстетика — это не маска, а дисциплина быть собой.» Стояло двести семнадцать сердечек.

Анна прочла собственную строчку. Перечитала. И на втором прочтении что-то в ней — не в строчке, в ней — медленно вывернулось наизнанку, как выворачивают шерстяной носок после стирки. Фраза была построена правильно: пара, нажим на втором слове, кульбит на «быть собой». Фраза работала. Но за этой работающей фразой не стояло ни одного дня её собственной жизни — ни вчерашнего, ни сегодняшнего. Она годами повторяла себе эту дисциплину как формулу. И сегодня впервые её собственная формула звучала не строже — а пустее. Как будто внутри слова «собой» давно никто не жил.

Анна закрыла приложение. Положила телефон экраном вниз. Допила декаф. Чашка Дмитрия стояла на столе, неубранная, с двумя его глотками. Галина вернётся в одиннадцать.

В двенадцать сорок Анна сидела в «Bolshoi» — ресторане на Большой Никитской, в зале для попечителей. Деловой обед фонда: Елена Викторовна, Лиза, новенькая координаторша из аппарата министерства, и Виктор Павлович — старший попечитель, семь лет на этой позиции, депутат заксобрания в отставке, человек хорошего тона и плохой памяти на имена.

— Здравствуйте, дорогая, — сказал он Анне в дверях. — Прекрасно выглядите, как всегда. Анна... Михайловна, простите?

— Сергеевна, — сказала Анна спокойно. Семь лет подряд он спрашивал, и семь лет она отвечала ровно, без интонации поправки, чтобы не делать его неловкости его. На седьмой год это перестало быть благородством с её стороны — это стало рефлексом, который её саму удивлял.

— Конечно, Сергеевна. Голова дырявая. Садитесь, садитесь.

Сели. Сервировка была идеальная — три вилки, два ножа, ложка десертная сверху, бокалы выстроены по росту: воды, белого, красного. Накрахмаленная льняная салфетка лежала треугольником, точно по углу тарелки. Елена Викторовна заговорила о программе на четвёртый квартал. Анна слушала вполуха, кивала.

И — машинально, не думая, — сдвинула среднюю вилку на три сантиметра влево. Не зачем-то. Так. У её правой руки лежал стандартный набор — теперь стало не стандартно. На полтора удара сердца Анна стала видна сама себе как женщина, у которой за столом криво. Это было — впервые за много лет — мелкое, физическое, чуть-чуть стыдное удовольствие. Внутри что-то расслабилось так, как расслабляется стопа, когда вынимаешь её из новой обуви.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.